



Вл. ПЯСТ

Роман философа

То есть не философский роман, не «страница любви»¹ из жизни мыслителя, а роман, написанный лицом, склад ума которого так не похож на обычный «писательский», беллетристический тип, но скорее мог бы принадлежать философу по специальности. Это — только что вышедший отдельным изданием толстый «Петербург» Андрея Белого*.

Сколь многие «не выносят» этого замечательного автора, проходя мимо выпуклых и живописнейших его описаний, мимо тончайших проникновений в царство почти невыразимых для пера, ускользающих переживаний, вроде ощущений на грани между сном и бодрствованием или между безумием и сверх обычного углубленным сознанием. Многим кажется, что Андрей Белый нарочно кривляется, жеманничает или умничает, когда на самом деле в каждом отрывке этот автор пытается выявить подлинную свою стихию, выразить с высшею мерою искренности преследуемую им — или, может быть, преследующую его — художественную задачу.

Роман этот заполняет совершенно особенное место в русской литературе. Мы бы сказали: находится на такой точке сферы ее, занимает такой ее полюс, противоположный которому занимает все то, что может быть объединено под именем реализма. Во многом влияют на Белого Гоголь, Достоевский, Толстой, и, однако, в главнейшем роман его прямо-таки противоположен любому произведению этих великих писателей. Все они шли от широко понятого реализма, углубляя свой художественный метод до пределов, в которых раскрывалась мистическая жуть или религиозная значимость повседневной действительности. «Петербург» в «Идиоте», «Преступлении и наказании», «Униженных и оскорбленных» — с начала и до конца тот же Петербург, какой воспринимали все современники Достоевского, без единой придуманной черты — и, не отступая ни на шаг от своего действительного образца, вдруг, не-

* 640 страниц. Ц. 2 р. Издано в Петрограде².

исследимыми путями, делается тем волшебным и жутким «Петербургом Достоевского», который волнует нас безграничной таинственностью своей жизни. Совсем наоборот у Андрея Белого. Его «Петербург» — это отвлеченная эстетическая идея этого города. Кажется, что автор строит ее почти как математик, как философ-рационалист, прежде действительности, почти не справляясь с последней.

Когда Гегелю стало известно об открытии в солнечной системе планеты, не предусмотренной его умозрительным построением, — философ сказал: «Тем хуже для нее». Андрей Белый сделал почти такое же примечание в тексте своего романа, когда ему указали, что в девятьсот пятом году (который изображается им) в Петербурге о трамваях и помину не было, а в его «Петербурге» слышится несмолкаемый гул от их движения³. Подчеркивая, пишет Белый: «По середине стола лежал курс “Планиметрии”. Аполлон Аполлонович перед отходом ко сну обычно развешивал книжечку, чтобы сну непокорную жизнь в своей голове успокоить в созерцании блаженнейших очертаний: параллелепипедов, конусов, кубов и пирамид». Тем хуже для «планиметрии», что в ней нет места ни одной из этих фигур; тем хуже для «действительных тайных советников», что обладать этим чином отнюдь не то же, что быть «особою первого класса», раз Андрей Белый утверждает, что это «опять-таки то же». Тем хуже, наконец, для нашей столицы, что улицы в ней слишком (в массе) узки, что столько извилин в ней, переулочков, ломаных линий, если в описании Андрея Белого Петербург состоит из одних мокрых и скользких проспектов, пересекаемых мокрыми же проспектами под прямым девяностоградусным углом. «Параллельно с бегущим проспектом, — пишет Андрей Белый, — был бегущий проспект с все таким же рядом коробочек, нумерацией, облаками, и с тем же чиновником. Есть бесконечность в бесконечности бегущих проспектов с бесконечностью в бесконечность бегущих пересекающихся теней. Весь Петербург — бесконечность проспекта, возведенного в энную степень».

По способу отвлечения из представления тех элементов, которые существенны в нем для художественных целей, как их полагает себе автор, изготовлены этим последним предмет, события и лица этого романа. Конечно, нет-нет и в него проникают свежие, мастерские образы и картины, непосредственно наблюденные. Незабываемы, например, фигуры дворника Матвея Моржова или Степки-безграмотного, водящих компанию с революционером Александром Ивановичем Дудкиным. Но недаром этот последний носит партийную кличку «Неуловимый». Почти таков его характер в романе: расплывающихся очертаний, бледный, и не только не типичный для революционера, но и вряд ли возможный в действительности.

«Учреждение», главою которого состоит сенатор Аблеухов, пишется автором везде с прописной буквы. Это не псевдоним какого-нибудь из действительно существующих министерств, но это и не синтетический тип их, — это отвлечение неуловимого духа «государственного механизма», такое абстрактное понятие для Белого, как добро или красота, — так сказать, символ. Таков же и сановник Аблеухов — по крайней мере в официальной части своей жизни (дома он жизнен). Таков даже «ангел-пери», Софья Петровна Лихутина, выписанная с некоторой безразличностью: абстрагированное женское кокетство, легкомыслие и противоречие. Провокатору Липпанченке приданы, наряду с действительно зорко увиденными чертами, и такие, которые взяты откуда-то вовсе из иной среды. И, наконец, в поведении на протяжении романа центрального лица, Аблеухова-сына, нарисованного более уверенно, чем остальные, есть до того странные неожиданности, попадают такие непонятные недосказанности, что, по-видимому, автор в этих местах романа просто сам не в силах ухватить ускользающую от него связь отдельных моментов и между ними впадает, если так можно выразиться, в некую творческую *absence* *.

Тем не менее нельзя сказать, чтобы созданные таким образом герои «Петербурга» не имели плоти и крови, слишком талантлив автор и как художник, чтобы допустить действовать в романе своим автоматам. Наоборот, все они вызваны Белым к жизни, и так осязательны, так конкретны формы каждого лица и образа в романе, что на каждой почти странице приходится изумляться напряженности и мощи таланта автора. Именно тому, как при таком искусственном подходе к заданной себе теме, при нарочито поставленной во главу угла задаче: дать иное и большее, чем правду, — как много действительной правды проникло, благодаря одаренности и художественному упорству автора, в его «Петербург».

Во всяком случае, в ряду произведений, посвященных эпохе девятьсот пятого года, «Петербургу» принадлежит одно из первых мест. Если нельзя про роман этот сказать, что в нем синтезированы все элементы этой полосы русской истории, если даже будет неверным утверждение, что он точно отразил какую-либо частицу этой жизни, — в «Петербурге» нельзя не ценить художественной работы такого уровня, до которого очень далеко прочим изображателям этой эпохи. И, наконец, теперь, когда из памяти вычеркиваются детали отжитой революции и «девятьсот пятый год» не волнует ничем действительным читателя, теперь будут с большим, чем в недавнее время, восхищением перелистывать страницы блестящей легенды Андрея Белого о «Петербурге».



* непричастность; отсутствие (*фр.*).